

Когда-то в Музее изобразительных искусств имени Пушкина коллекция фаюмского портрета была спрятана за коричневой занавеской. Надо было подойти к стене и, взявшись за край шелкового полотнища, отвести занавес, чтобы открылись лица большеглазых людей — черноволосого лохматого юноши, мальчика в веночке из позолоченных листьев, бородача со штрихами щетины на подбородке или бледного мужчины в лиловатом плаще, наверное, поэта, — во всяком случае, так назван он в описании. Я приходила снова и снова в этот зал. Что влекло к этой стене, спрятанной от солнечного света, — эстетическое любопытство, поиск идеального облика или тяга родства? Меня необъяснимо притягивала к себе эта живопись эпохи эллинизма с глянцевыми, выпуклыми бросками восковой краски. Написанные в технике, которая до наших дней не расшифрована, изображения людей, умерших в Египте в первые века нашей эры, для меня воплощали в себе черты живого дорогого лица, конкретного человека моего времени.

До сих пор возвращаюсь я сюда, точно, глядя на лики, можно свидеться со своей юностью. Стихи свели меня с теми, кто остался со мной на всю жизнь, даже и после безвременной своей кончины, потому что так, как связывает поэзия, ничто в мире не связывает.

Нас было — Илья Рубин, Аркадий Осипов, Нина Константинова и я. Мы были тощи, молоды и писали стихи. Я так запомнила это время:

*Мой друг, нас четверо болталось,
Мы начинали так давно,
Что даже строчек не осталось
Иль нам их вспомнить не дано.*

*...Зачем тогда мы повстречались
И под проклятия родни
Зачем навеки повенчались
В те неприкаянные дни!*

Илья был центральной фигурой нашего сообщества.

*Он — спорщик тощий и упорный,
Премьер голодных вечеров,
Владелец крашенных, невпору,
Домашней вязки свитеров.*

Мы сошлись в начале 60-х, в литературном объединении, которое вёл Николай Панченко. Именно Илья на каком-то вечере, где читали и Евтушенко, и Вознесенский, и много других молодых и немолодых авторов — тогда был поэтический бум, и вечера поэзии шли без конца, — услышал Панченко, поэта фронтового поколения, жёсткого в текстах, взрослого, мудрого человека, и пригласил Николая Васильевича в руководители литобъединения. Тот согласился, и это во многом предопределило литературную судьбу тех поэтов, кто назвал его тогда своим учителем.

Рубин везде был лидером, в любой компании, в любом коллективе. Он много читал, эрудиция его была феноменальной. Происходило это не только от того, что в отцовском доме было много книг, но и от его умения покупать — часто на последние гроши — и доставать книги, порою и те редкие, о которых мы даже не слыхали. И от большой рубинской памяти. Из его рук, можно сказать, я прочла тогда Марсея Пруста и «Полутораглазого стрельца» Бенедикта Лившица. Позднее, работая в лаборатории ядерного магнитного резонанса, он говорил учёным своим сослуживцам: «Не думаю, чтоб человек, не читавший Пруста, мог что-нибудь открыть».

У него был нюх на всё талантливое и независимое. Песни Галича в магнитофонной записи я тоже узнала благодаря Рубину.

Судьба этого поэта как будто вместила все крайности тогдашнего существования, все искушения времени между XX съездом, от приглушённого грома которого всколыхнулось что-то в подавленной сталинизмом стране, до середины 70-х, когда начался исход евреев из Советского Союза.

Илья учился в Институте тонкой химической технологии, потом в Менделеевском. Ни одного института не окончив, везде был на виду, везде был средоточием вузовской интеллектуальной, параллельной обучению, жизни. Потом работал на заводе, в Институте элементоорганических соединений, поступил на филфак МГУ, став учеником Льва Копелева. В начале 70-х взял на себя обязанности редактора в неподцензурном журнале «Евреи в СССР», включившись в диссидентскую жизнь как бы поневоле, поначалу не ощущая в себе тяги к общественной деятельности и имея лишь культурные жизненные задачи. Тогда копировальная техника была недоступной, но и при тираже 20 экземпляров (четыре закладки на пишущей машинке) «самиздат» этот привлёк внимание соответствующих органов. Вызовы в КГБ, многозначительные угрозы вездесущей организации в конце концов вынудили Рубина эмигрировать.

Через восемь месяцев после приезда в Израиль, в апогее нового творческого взлёта, жизнь этого прозорливца и остролова, казалось бы, имевшего пятьсот процентов живости, неожиданно оборвалась. Прошлые его мыканья и переживания не прошли даром, ведь он нёс тройную тяжесть бытия: как человек в мизантропическом двадцатом веке, как личность в тоталитарном государстве и как еврей в антисемитской стране.

О тех страданиях, которые претерпел он лично из-за своей национальности, Рубин говорил немного, но именно отношением к еврейскому вопросу мерилась тогда для нас интеллигентность. Я помню, как тяжело реагировал Илья на бытовой и государственный антисемитизм, и то чувство бессильного стыда, которое я испытывала от его рассказов. Ещё в школе он встретился с этим. Его били за то, что он еврей. Был какой-то мучитель, превосходивший Илюшу силой и терроризировавший его.

Как-то мы шли по улице у Окружного моста, от моего дома к метро, — Нина Константинова, Илья и я. Какой-то пьяный, зигзагами передвигавшийся по тротуару, взглянув на Илью, вдруг закричал: «Жид! Жид!» И нетвёрдой рукой замахнулся, чтоб ударить Илью в лицо. Они сцепились. Пьяный был довольно хилым, расслабленным, и через минуту Илья уже сидел на нём верхом. Подъехал милицейский патруль на мотоцикле с коляской. Пьяного, который опять ободрился и махал кулаками, погрузили в коляску, а нам велели идти в отделение, куда мы скоро припле-

лись, причём Илья страшно досадовал, что случилась такая история: «Зачем я на нём сидел?» — и хотел, чтоб обидчика его немедленно отпустили.

Мы все были нищи, но не замечали этого. У Ильи были особые проблемы в этом смысле. У него появлялись привязанности, он пытался соединиться то с одной, то с другой женщиной, образовывалось на некоторое время подобие семьи, надо было зарабатывать. Он не мог сидеть на шее у родных и никогда не побирался по салонам.

Я не знаю всех мест, где Илья трудился, но помню, как он нанялся на Дорхимзавод мастером-аппаратчиком в цеху, где профзаболеванием был рак мочевого пузыря. Странно, но с рабочими у него сложились нормальные отношения, и он рассказывал: они понимали, за что травили Пастернака после опубликования его романа на Западе: «Написал правду».

Чтобы добыть денег, Рубин сдавал кровь — у него была редкая группа, четвёртая. Рассказывал мне, что в день сдачи крови кормят казённым обедом и даже дают стакан красного вина, а потом полагается один день отгула. И денег дают, кажется, две десятки за два стакана крови. Такие были тогда кроваво-красные десятирублёвые купюры.

Мы много писали и пытались предлагать стихи в журналы. Напечататься никому не удавалось.

Однажды Илья предложил нам вчетвером обсудить литературную ситуацию. Мы собрались на Комсомольском проспекте в кафе, и Илья высказал идею сложить все наши стихи и представить их как труд одного автора, какого-нибудь инвалида-фронтовика, чтобы напечатать. Мы вяло реагировали на такое предложение, в полной мере уверенные, что это не пройдёт, да и не терявшие надежды когда-нибудь опубликоваться под собственным именем. Я помню, он хотел назвать этот общий гипотетический сборник «Здесь, на горошине земли». Он очень любил Ходасевича, и не раз я слышала от него «Перешагни, перескачи, перелети, пере— что хочешь» как заклинание.

При жизни на родине ничего у него не было опубликовано.

То, что осталось после Рубина: стихи, проза, статьи, — вошло в книгу «Оглянись в слезах», посмертно изданную в Израиле. Что-то сохранилось у его друзей в России, хотя часть замечательных рассказов и целый корпус писем из Натаньи были изъяты у его адресатов при обысках и до сих пор недоступны.

Илья Рубин прожил отрезок российской истории, вместивший войну («Я родился в сорок первом, в самом первом...»), «оттепель», брежневское застойное время, которое пожрало наши жизни и оболванивающей силище которого он всегда сопротивлялся. Сопротивлялся острословием («Наш советский паралич — самый прогрессивный в мире»), ироническим отношением к комсомольской возне, к показухе так называемой общественной работы, на которой сделало карьеру немало его однокашников.

Как-то на политинформации, которую проводили после очередного пленума партии по сельскому хозяйству — с невыполнимыми, на далекое будущее расписанными планами, — Рубин съязвил: «Тысячелетний рейх просуществовал тринадцать лет!» Но в то же время говорил, что социализм (подразумевалось, в советском варианте) будет вечным, и его собственные прогнозы были безрадостны: уверен был, что коммунистический строй распространится по миру ещё шире, «потому что при нём порядок, а люди любят порядок».

Илья был незащищен и в то же время абсолютно свободен.

Я думаю, исследователи литературы ещё напишут об этом авторе. О его духовной несмирённости, неподвластности пропаганде. О его нравственно-философских и критических статьях, написанных в последний период недолгой жизни. Но пока я жива, мне особенно помнятся те его стихи, которые принес он на обсуждение в 63-м году, которые, по словам нашего мэтра Н. В. Панченко, не избегли влияния Пастернака и которые до сих пор нигде не напечатаны:

*На землю знойную Тирасполь
Бросал, как женщину, себя,
Лепил лиловые террасы,
Лучами липы теребя.*

*И королева летних ливней,
Которой править и пленять,
Литые чаши белых лилий
Идёт рассветом наполнять.*

(«Стихи о Молдавии», 1962)

Стихи, полные юношеского романтизма, ассоциациями ещё связанные с той версией истории России, которая подавалась тогда как единственно верная («И ты, немых созвездий полон. / Поднимешь в бурю якоря, / И поведут тебя Гапоны / К твоим девятым января»). Стихи с незабываемыми военными и послевоенными реалиями, от которых саднило душу («Теперь поэзии стакан / Душа по капле отдана. / Так фронтовые ветераны / На хлеб меняют ордена») и которые уже явно обнаруживают главные черты его личности. С рубинским неприятием конформизма, с традиционным его понятием о чести, с «несомненной... талантливостью... упрямым отстаиванием своего права быть не “как все”, быть самим собой — евреем в России, русским в Израиле», — так после его смерти напишет о нём друг, — нерасчленимо соединены особенности его поэзии. Намеренная заострённость высказываний, бесстрашие признаний (стихи — самодонос), физиологичность в описании страдания и радости («оскотинев от счастья, / Целуя запястья и ноги твои» — так он писал о любви), которые характерны и для более зрелых произведений Рубина. Тексты всегда демонстрировали органическую включённость его сознания и чувственного аппарата в ближние и дальние события времени, будь то дело Синявского — Даниэля, китайская культурная революция или война во Вьетнаме («Я точно пьяный в дым американец, / Который завтра полетит в Сайгон»).

Воспроизвожу по памяти одно из отрывистых, как пощёчина, восьмистиший, с которых он начинал когда-то:

*Рассвет — это гомон и ругань
И тонкий малиновый плач,
Как будто кровавые руки
В воде обмывает палач.*

*А веткам деревьев не слушать
И взмахивать мокрым бельём,
Как будто рыдает «Катюшу»
Погибший штрафной батальон.*

Помню вечер в МГУ на Ленинских горах в 65-м, посвящённый памяти Мандельштама и организованный студентами математического факультета. Нас повёл туда Панченко. Меня поразили

тогда скоростные лифты. Народу в кабину набилось так много, что я боялась: лифт сорвётся. Аудитория была переполнена, мест не хватало, и мы — Илья, Аркадий, Нина — сидели на подоконнике на верхотуре амфитеатра. Вёл вечер Эренбург, выступали Николай Чуковский, Арсений Тарковский, из речи которого особенно запомнилась одна удивившая меня фраза. Цитируя «Мне на плечи кидается век-волкодав, / Но не волк я по крови своей...», Тарковский сказал, что, мол, век этот давит именно волков. Заявление такое меня взбесило.

Литературовед Степанов — белый, седой — говорил очень долго и, как мне казалось, слишком спокойно.

Дима Борисов, худой, стройный молодой человек, стараниями которого и был разрешён этот вечер в университете, читал стихи Осипа Эмилевича — очень хорошо, проникновенным голосом.

Когда объявили, что среди нас находится жена поэта, началась овация. Надежда Яковлевна встала и постояла полминуты под аплодисменты, но не выступала. За весь вечер не было высказано впрямую ни одной нелояльной фразы. Меня всё это возмущало, мне казалось, что *должно* было произнести обвинения.

Последним выступил Варлам Шаламов. Он читал рассказ «Шерри-бренди», тогда ещё не напечатанный: о смерти поэта-заключённого, не называя имени Мандельштама. Руки у него ходили ходуном. Ужасное неврастеническое действие вызывало жалость и возмущение тем, до чего доведён человек (мы знали, что он сидел). Потом в одном доме мне трусовато объясняли, что его манера трясти руками и качаться — не психоз, не болезнь, а стиль уголовной речи, что такова лагерная культура длительного повествования.

Я была права в своих претензиях к выступающим. В девическом максимализме требовала от всех правды, не понимая, что и такие литературоведческие речи и просто обращение к творчеству крамольного поэта — уже смелость. Ведь это было первое со времени ареста и гибели Мандельштама публичное чтение его стихов.

В эти дни Илья дописывал поэму «Революция».

Первые её строки акцентируют тот игровой, театральный момент, который присущ ранней стадии всех революций:

*И начинают каблучки пажей
Выстукивать чечётку мятежей.*

*И засоряют память площадей
Цвета знамён и прозвища людей.*

Но дальше, когда поэт пытается оценить революционные завоевания, перечислить всё, что доказывало бы необходимость главного пункта советской истории, поэтическая правдивость не позволяет ему умом и душой принять это событие. Начав за здравие, Рубин кончил за упокой.

*И пулемёты лезут на балкон,
Захлёбываясь лентами окон...*

<...>

*Когда гортани рупоров мертвы,
Они уже не требуют жратвы.*

*Они, как жезла, требуют ружья.
Уже расстрелян и низложен я.*

«Уже калеки тянут кулаки, / Чтоб исправлять мои черновики», — пишет он, понимая, что власть не просто отрицает право на свободное творчество, приказывая «Сегодня ликвидировать всех поэтов, / Завтра — художников, скульпторов, музыкантов», но и претендует на художественность, готовая внаглую использовать поэта по-своему.

Свидетельствуя о том, как происходит осознание октябрьских событий человеком второго-третьего советского поколения, поэма эта превращается в сбивчивый, интонационно-напряжённый монолог от лица современного юноши, исторически причастного к последствиям переворота, и в то же время — от лица жертвы той катастрофы, которой стала для России революция.

*Не оскорбить твои знамёна.
Твои бессонницы чисты.
Твои декреты и законы
Творят евреи и шуты.*

*Они на пленумах картавят,
И ради счастья моего
На камне камня не оставят,
Не пожалеют ничего.*

Не все мы, остальные члены поэтической компании, в то время осознавали в полной мере гибельность для страны того, что произошло в 17-м году, а если даже и чувствовали что-то, то уповали в своём шестидесятничестве на возможность прихода просвещённого правителя. Когда сняли Хрущёва, но ещё не верилось, что возможен снова поворот к сталинизму, Илья сказал, что в СССР кончилось царство Иванушки-дурака.

Поэма «Революция» впервые опубликована в России в 2000-м году в альманахе «Глоток кислорода», посвящённом столетию МИТХТ.

С какой зрелой отчётливостью увидел Рубин трагедию страны, зародыши того начала, которое вело нацию к самоубийству:

*Уже людей боятся люди,
Деревья просят топора.
Уже деревня голой грудью
Бросается под трактора.*

С большой определённостью констатируя ненужность для революции, «лишнесть» религии и искусства, Рубин видит и трагедию пролетариев, тех, ради кого якобы свершилось уничтожение прежнего строя, и трагедию поэта в мире новых ценностей:

*Во-первых, серебро кадьницы
Среди обители пустой
Невероятно, как Кандинский,
В стране, где только Лев Толстой!*

*Невероятно постиженьё
Падений, слов и надежей,
И между тяжких этажей
Невероятно продвиженьё.*

*И, во-вторых, бредут заводы,
И раздирает песня рот,
И падают, глотая воздух,
Держась руками за живот.*

*И невозможна остановка.
Возможен выстрел сгоряча,
Когда, о будущем крича,
Забьётся песня у плеча,
Продолговато, как винтовка!*

*И, в-третьих, грустные Силены,
Стихами грустными звеня,
Проголосуют за меня
И вытолкнут меня на сцену.*

*Запричитаю торопливо.
Паду в тумане кровавом
Твоим суфлёром терпеливым,
Твоим последним крикуном!*

Раздумья о своём месте в этой «стране повальных эпидемий», о невольном участии каждого в том, что совершается ныне... О неизбежности выбора между ролью жертвы и ролью палача, потому что сокрытие мыслей, двойственность существования невозможны для писателя и он не может отмолчаться, подобно большинству своих соотечественников... О необходимости для поэта словесно обозначить свою миссию:

*И если жертва — это я,
То почему палач спокоен,
И почему его рукою
Начертана строка моя?*

*А если убиваю я,
То почему мой труп холодный
Горой кровавого белья
Оголодавшим птицам отдан
Среди продрогшего жнивья?*

И о гибели мифа, развенчании культовых фигур, которым молились десятилетиями:

*Умирают боги, умирают...
И, не смея плакать, до утра
Бабы шмотки мужнины стирают,
Чтоб отмыть вчерашнее «ура».*

Позднее, в статье «Кто был никем...», написанной в середине 70-х, Рубин высказался определённое о психологических истоках революции — с её декларируемым неприятием отприродного человеческого неравенства и стремлением установить справедливость путём подавления всех тех, в ком подозревается возвышающее их отличие от остальных. Особость, идентифицированная Рубиным как богоизбранность, проявляющаяся как наделённость талантом, умом или богатством, вызывает такую ненависть у посредственности, что та ищет предлог уничтожить всех, кому присущи признаки избранности, в первую очередь аристократию. Рубин на примерах библейских и литературных пытается исследовать истоки зависти, «природу глубоких изначальных причин», толкающих человека к преступлениям под видом борьбы за возвращение должного миропорядка. Каин предстаёт у него родоначальником «всех борцов за справедливость, где благодать распределяется между гражданами, как сапоги, хлеб и мыло, — поровну».

«...Любая революция, отменяя Божественный произвол социального порядка, ставит на его место произвол человеческий, низводя его из сферы духа в сферу плоти. Уничтожая метафизическое, изначальное неравенство, она не может не усугублять неравенства физического, земного. Равенство в Боге она делает равенством в смерти, в страхе. Аристократию, духовно преодолевающую в Истории своё земное избранничество (вспомним декабристов), она заменяет безликой и беспощадной властью большинства, почти неспособной к самосознанию — а значит, и к творческому самоотрицанию — неременному условию нормального развития государственности, неотчуждённой от жизни общества...

Путь насильственного насаждения безблагодатной материальной справедливости представляется соблазнительным, почти лёгким, тому сорту людей, кто заменяет разум его рабочим инстру-

ментом — логикой. Всякая революция вообще характеризуется “инструментностью” мышления, сводящей сложность вечных проблем к мнимой простоте и разрешимости. Простота эта всегда оборачивается простотой разрушения, не наполненного чаще всего никаким позитивным содержанием: ждут, что оно появится само собой в результате “освобождения”, кровавой расчистки».

Был ли Рубин понят при жизни? Вопрос остаётся открытым. Я, определённо, не понимала ни масштаба его личности, ни значения его как литературного мыслителя. Вот как воспринимал его другой современник, начальник лаборатории, где Илья работал несколько лет: «Библиофил, поэт и эссеист, переполненный неистребимым интересом ко всяческим проявлениям своеобразия человека, яростный спорщик и лихой выпивоха, тонкий психолог и, в особенности, — знаток женской души... Химик, но института не закончил. Поэт, но не печатается... Побывал в психушке... Ухмылка какая-то непочтительная...»

Нам всем было худо и гнусно, мы пытались сохранить теплившуюся дружбу, но судьба делала немало, чтоб развести нашу четвёрку навсегда, хоть ей этого и не удалось. Главная мысль творчества Рубина, как написано в предисловии к единственной его книге, — «трагическое ощущение угрозы, которая нависла над нравственностью... над чистотой, над культурой... в современном дичающем мире», — не была тогда воспринята в должной мере нами, его поэтическим окружением.

Когда Рубин был лаборантом в ИНЭОСе, мы встречались по дороге на работу, вернее, каждое утро он видел меня из окна троллейбуса, который вёз его самого от метро «Библиотека имени Ленина», а я шла на службу пешком через Большой Каменный мост. Я не знала даже, что он стоит там, за грязными стёклами, только испытывала вдруг какое-то беспокойство, словно на мосту, где я была совершенно одна, присутствовал, незримый, ещё кто-то. Однажды он признался: «Постникова, я вижу, как ты шлёпаешь под дождем, и мне так тебя жалко».

Но не из-за дождя нужно было меня жалеть. Жизнь проходила вне сущностных дел, мы терпели своё существование и совсем не стремились жить долго, не берегли себя.

Рубин везде оставался самим собой, «поперечником», стараясь быть предельно честным перед теми идеалами, которым предался в юности. Поэтому эпизод, о котором я расскажу дальше

и который в большой степени повлиял на его судьбу, несчастен в рубинской биографии.

После чешских событий августа 1968 года на предприятиях, в институтах, даже в самых малых конторах страны проводилась кампания в поддержку военной акции стран Варшавского договора. Вообще-то власть не нуждалась ни в каком одобрении своих решений, но такие, по видимости демократические, мероприятия зачем-то были проведены. Надо сказать, чтобы в этом не участвовать, я сама с такого собрания в своём институте малодушно сбежала. Когда обсуждение партийного решения происходило в ИНЭОСе, Илья был на бюллетене. Вернувшись после болезни, он узнал, что не все сотрудники института, собранные в зале по указанию высшей инстанции, затеявшей, по-видимому, таким образом проверку на лояльность, выразили согласие с решением правительства. Объявились воздержавшиеся, хотя большинство, конечно же, подняли руки «за». Тогда Рубин пошёл в партком и сказал, что он не был на собрании, но он против ввода войск.

Сейчас забылось, чем грозил в те времена такой поступок, — неприятности начальнику строптивца, увольнение, невозможность снова устроиться на работу.

Был ли он совсем бесстрашным? Вряд ли. И в разговорах, и в стихах проскальзывало, что страх он знал. Об этом написан его рассказ, который так и называется, — «Страх». А уж когда друзей его начали таскать в КГБ... Не хочу искать в его текстах свидетельств малодушия, но в моих собственных стихах той, брежневской поры, вот они:

*Приходит страх. Его обличье
Неясно, но знакомо мне
Своим ознобным неприличьем,
Удушьем ярости во сне.*

*Я так боюсь, как будто брата
Уже поставили к стене,
Как будто дуло автомата
Уже примерилось к спине.*

*Твою фамилию прокличут
В кирпичной грубой тишине, —*

писала я, имея в виду именно Илью, задолго до того, как он стал числиться диссидентом, потому что всегда предчувствовала для него какую-то опасность, что вызывало в воображении картины его гибели. За много лет до эмиграции, в цикле стихотворений «Бегство», он сам так сказал о состоянии, в котором жил, возможно провидя и свой вынужденный отъезд, ведь уезжать он вообще-то не хотел:

*Я так бежал, что спотыкались губы,
Припоминая ремесло коня.
Свистели флейты. Надрывались трубы.
Я так бежал, что не было меня.*

*Как серый дым, я исчезал во мраке,
Вращался я, как призрак колеса,
Как будто вспомнил ремесло собаки,
Обнюхивая чьи-то голоса.*

Я помню, как после подачи заявления о переезде на постоянное местожительство в Израиль пытался он спрятаться от всеслышащих ушей, на несколько месяцев отправившись в северную экспедицию. Но в последние дни жизни в Москве, когда топтуны открыто дежурили на лестничной клетке у его квартиры (я их видела), этот страх у него превратился в избыточную, патологическую подозрительность, отравлявшую отношения с людьми.

Узнав о его планах, я не скрывала предчувствий, что мы прощаемся навсегда:

*Ты уезжаешь, точно умираешь,
Читаешь мне стихи в последний раз.
Как любишь ты тогда, когда теряешь,
Несдержанных не вытираешь глаз.*

*...Уже виски и смуглые надбровья
Засинены разлукой, как вдовством,
О, Господи, но больше, чем любовью,
Мы связаны, но больше, чем родством.*

*...Запомни всё и всё прости заранее,
Когда я плакать буду, промолчи,
И карканье прости, и причитанье,
Сиротские пророчества в ночи.*

Он так был связан с Россией и так любил её! «...Читая стихи Ильи Рубина, невозможно представить себе, как он мог уехать из России, как мог расстаться с ней... Но кто из любящих Россию не проклинал, не обвинял и не обличал её?.. Илья Рубин принадлежал к тем, кто отделяет Россию от Советской власти», — написано в статье «Смерть поэта», где рубинская любовь к России предстаёт как «неразделённая больная страсть» с «тягой к самоубийству». Статья эта замечательно обозначает связь «русское — еврейское» в творчестве Рубина, завершая книгу его произведений, которую он уже не мог увидеть.

Моё восприятие Рубина зачастую отличается от того, какое впечатление он оставлял у других, даже и расположенных к нему людей. «Лохматый, небритый и нечёсанный, с толстыми яркими губами и громадными тёмными глазами, сгорбленный, в каком-то невозможном свитере...» — пишет о нём доброжелательный современник. Остались и другие свидетельства о его внешности и речах, о его островах. У друзей сохранились немногочисленные снимки, где он предстаёт перед нами то кротким подростком с пригоршней крупных грибов в руках, то главой легкомысленного застолья, то весельчаком в туристической компании. Он очень похож на себя на фотографии, сделанной накануне отъезда, где держит на руках свою кошку Трефу, отправившуюся потом с ним в далёкие палестины. В моей же памяти и в моих стихах он запечатлён по-другому.

И когда я прихожу в зал музея, где хранятся портреты из некрополей Фаюмского оазиса, я узнаю Илью в этих лицах — сразу в нескольких. Но глядя на ритуальные изображения эпохи Птолемеев, где греко-египетские лица-маски как будто ожили и впервые открыли глаза, я задаю себе вопрос: может быть, как-то сказывается в облике человека то, что предопределено ему жить недолго? Лики тех, кто умер молодым в начале нашей эры, так похожи на обожжённое вдохновением лицо русского поэта, словно нет между ними этих тысячелетий, этих этнографических различий.

И мне думается, в живописном отображении чернокудрых людей, смиренно ожидающих загробной жизни, художник старался усугубить именно те черты: просветлённо-сосредоточенный вид и губы, разомкнутые и словно готовые к произнесению слова, и этот взгляд, непосредственно-открытый и затаённый одновременно, — черты, которые издревле присущи поэту, потому что это, может быть, самый вечный образ бытия.

Первая публикация — в журнале «Вопросы литературы», 2002, № 1